

Русская мысль. - Париж. - 1995. -  
 «Скворешниц вольных граждан»

2 нояб. - с. 10

Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами

Но куда больше поражает другое, менее замеченное: что когда эта эпоха внутренне, а затем и внешне исчерпала себя, когда сам Вяч.Иванов исчерпал до конца и без остатка ее возможности в расточительных вариациях обоих томов «Сог арденс», — «Пора сказать: я выпил жизнь до дна...» — он отнюдь не кончился, не превратился ни в бледную тень самого себя, как Бальмонт, ни в обеспокоенного подражателя собственных учеников, как Брюсов. Напротив, ему предстояло написать едва ли не лучшее из того, что он написал: «Человека», «Зимние сонеты», а позднее, уже в римском изгнании — «Римские сонеты», «Повесть о Светомире царевиче», «Римский дневник 1944 года». Престарелый поэт; переживший конец прежней России, оставшийся без читателей, в литературном вакууме, — все, что угодно, только не жалок. Он в полной мере сохраняет и чувство осмысленности собственного существования, и живой интерес к происходящему. Былой собеседник Владимира Соловьева, а после — гостей «Башни», становится собеседником Мартина Бубера, Жака Маритена, Торнтона Уайльдера.

По отношению к катастрофической истории века, загонявшей столько хранителей старого культурного предания в тупики бесплодных и безнадежных сарказмов, престарелый Вяч.Иванов сохраняет достойную восхищения эмоциональную дистанцию. Он продолжает дышать «большим временем». Как характерно его письмо попросившему о совете младшему сотоварищу по изгнаннической судьбе, датированное концом 1935 года:

«Вы сетуете о "разрушении русской культуры"; но она не разрушена, а призвана к новым свершениям, к новому духовному сознанию. Притом, как есть одна Истина, и одна Красота, так и культура в существенном и последнем смысле этого слова, — культура, как духовное самоопределение и самораскрытие человека, — выражение вселенского единства и дело вселенского единства (...) Итак, русскому беженцу, действительно верному заветам русского духа и русского духовного дела, надлежит прежде всего вырваться из бытовой и психической замкнутости и затхлости русских "колоний"».

Ученость, которой столько корили Вяч.Иванова, оправдывает себя именно теперь: она расчищает загроможденный тучами широкий кругозор, позволяя увидеть беду сегодняшнего дня в нескончаемой перспективе смертей и возрождений. Символ этой перспективы — воспетая Вергилием гибель Трои, воскресшей как Рим. И последний символист, на десятилетия переживший символизм, обращает к Риму слова, которые он мог бы, пожалуй, обратить к самому себе:

И ты пылал и восставал  
 из пепла,  
 И памятливая голубизна  
 Твоих небес глубоких не ослепла.

И помнит в ласке векового сна  
 Твой вратарь кипарис, как Троя  
 крепла,  
 Когда лежала Троя сожжена.

Да, этому научает история, даже вычитанная из книг, если книжная мудрость в достаточной степени пере-

работана сердцем: что жизнь — неизменно живучая кошка, что все уже много, много раз кончалось, горело пожаром Трои, чтобы сызнова начинаться. Интересно, что за много десятилетий до процитированных римских строк, когда концом старой России еще и не пахло, у юного поэта в довольно ученических стихах ясно обозначилась та же отрешенная, «запредельная» надежда на поворот великого цикла, на то, что приходит после всякого конца:

...И умолкли звуки жизни,  
 И развеян прах из ури;  
 На безмолвной, долгой тризне  
 Пировать идет Сатурн.

И сидит старик, и взоры  
 В дальний мрак вперяя, ждет:  
 Скоро ль новый блеск Авроры  
 Солнцебога приведет.



Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус и Вяч. Иванов на вилле Мережковских в Рокка-ди-Папа под Римом. 1937.

Ибо не последний смысл истории — в том, что она освобождает ум от собственной фатальности: история как знание — от истории как претерпевания.

Можно, конечно, еще раз назвать эту свободу в историческом времени — холодностью. Во всяком случае, речь идет о том самом качестве, которое сам поэт назвал своей «запредельностью»; и трудно отрицать, что перед лицом русской истории XX столетия сухие глаза и ясная голова — хотя бы оригинальнее, чем слезливость и бред, эти проявления несвободы. Говоря это, мы никоим образом не отказываемся, Боже избави, снимать шапку перед неподдельными слезами и неподдельным безумием, перед каждой подлинной трагедией. Но не все же пе-

реживать обстоятельства времени, скажем, по Георгию Иванову, находя в тупиках истории повод к тому, чтобы загнать в тупик собственную живую душу. Ведь этим никому и ничему не можешь. Лучше прислушаемся, в каком тоне рассуждает Вяч.Иванов в семейном письме об одном итальянском споре на русские темы, каковому только что был свидетелем, да и участником. На дворе 9 мая 1927 года; поэт, уже профессорствующий в католическом Колледжио Борромео в Павии, несколько месяцев тому назад узнавший о закрытии словесного отделения в Бакинском университете по требованию тамошних комсомольцев и воспринявший эту весть как знак окончательного подтверждения изгнаннической судьбы (ср. письмо от 7 января 1927 г.), чрезвычайно далек от самомаleastейшей самоидентификации с «советской действительностью». Но



Вяч. Иванов в своем кабинете на ул. Леона-Баттисты Альберти в Риме, «на Авентине». После 1945.

Ответом были стихи:

Сползая, медленно ль истают  
 Иль мир оденут ледники,  
 О том Природу не пытаются  
 Платоновы ученики

Умрем, — как от земли далеким  
 Себя почувствуем, когда  
 Взойдет над глетчером глубоким  
 Меня позвавшая звезда.

Гул сфер наполнит слух  
 бесплотный...  
 Из гармонических пучин  
 Расслышу ль гор язык  
 немотный —  
 Глухие рокоты лавин?

О, конечно, этим строкам идет быть предсмертными. Разве что в последних творениях. Гете встречается такая же полнота одухотворения естественной старческой немощи. Почти «бесплотный» слух уже вправе принимать грамматически диковинные сочетания — «далеким / Себя по-

чувствуем», — которые только сильнее подчеркивают отрешенность говорящего. Но отсылка к Платонову учению воспрещает понять эту «предсмертность» чересчур уже биографически, свести ее к простенькой эмпирии. Платон заповедал своим учеником понимать всю свою жизнь как «умирание» в некоем позитивнейшем и весьма радостном смысле: как отрешение, освобождение. Как «запредельность». И согласимся, что Вяч.Иванов верно следовал этому завету и тогда, когда ему предстояло еще много годов и десятилетий земного бытия.

Как оценить эту редкостную дистанцию между умом поэта, слышащим все звуки из собственных «гармонических пучин», — и злобой дня? Что это? Бесстрастие? Бесчувственность? Кто вникал в письмо Шарло дью Босу (1930), тот почувствовал живущую в нем страсть. Чего стоит неож-

данное признание, что если его что отделяет от беснования большевиков, этих «одержимых новой вселенской религией навыворот», то уж никак не ностальгия по старому культурному уюту! Тут трудно не вспомнить обращение носителей Христова огня к своему Господу, которое неожиданно обжигает нас в ивановском «Человеке»:

«Явись — поют, — спасая и губя!  
 Все озарит Твой лик — и все  
 расплавит!  
 На камне камня в храме  
 не оставит.  
 Нерукотворный храм, зовем  
 Тебя!»

Да, это — страсть, перед лицом которой странновато говорить о холодности, но страсть до конца интеллектуально переработанная, до конца включенная в контекст «всецелого» и тем «умиренная».

Москва

Окончание. Начало в «РМ» №4098.

стоит ему услышать, как другой изгнанник, бывший ректор Томского университета Н.Оттокар, на глазах у итальянцев, у чужих, слишком уж легко рассуждает о «крушении» России, его душа неожиданно и нелогично возмущилась: «Я почему-то почувствовал себя патриотом современной России». Сама по себе эта амбивалентность для психологии изгнанников совершенно обычна. Что, напротив, совершенно нетривиально, так это юмор, с которым Вяч.Иванов тут же, по горячему следу, комментирует собственные эмоции:

«Не поймешь, что за вздор, что за чепуха, что, можно сказать, за дрян (выражаясь патетически в гоголевско-курльковском стиле) в головах и душах сбитых с колеи русских людей, сынов «задавленной», в наши дни. «Odi et amo», как сказал Катулл. И «coincidentia oppositorum», как изрек философ Николай Кузанский, «Мерзавец», — присовокупил бы Кузьма Прутков, — еще Тютчев сказал: «умом Россию не понять», — ты же паки тишишься объять необъятное».

Вот он, запредельный отщепенец. Там, где Блок сказал бы с безоговорочной серьезностью: «И страсть, и ненависть к отчизне», или замолчал бы с серьезностью еще более смертельной, Вяч.Иванов еще находит силы для взгляда со стороны, для ученого самопередразнивания, для карнавала. И это притом, что лаконичный эпитет «задавленная» в применении к родине достаточно серьезен. Довольно понятно, что помянутый Бахтин проявил к Вяч.Иванову живой интерес (и жаль, что он не мог знать тех его поздних и «домашних» текстов, какие знаем мы).

Но вот уже речь идет не об одной России — о планете; правда, на уровне довольно отвлеченного разговора. Разговор состоялся 7 января 1949 года, за несколько месяцев до тихой кончины поэта. Собеседником был молодой человек, пришедший к Вяч.Иванову с наброском своей музыкальной по-

299